

Иван Алексеевич Бунин

Освобождение Толстого (Л Н Толстой)

**Бунин Иван Алексеевич
Освобождение Толстого (Л Н
Толстой)**

И.А.Бунин
Л.Н.Толстой

"Освобождение Толстого"

[...]

Как философ, как моралист, как вероучитель, он для большинства все еще остается прежде всего бунтарем, анархистом, невером. Для этого большинства философия его туманна и невразумительна, моральная проповедь или возбуждает улыбку ("прекрасные, но нежизненные бредни"), или возмущение ("бунтарь, для которого нет ничего святого"), а вероучение, столь же невразумительное, как и философия, есть смесь кощунства и атеизма. Так все еще продолжается, хотя и в несколько иной форме, то отношение к нему, которое было когда-то в России. Только одна "левая" часть этого большинства прославляет его -- как защитника народа и обличителя богатых и властвующих, как просвещенного гуманиста, революционера: отсюда и утверждается за ним титул "мировой совести", "апостола правды и любви". [...]

"Политика, говорил Гете, никогда не может быть делом поэзии".

Мог ли быть политиком великий поэт Толстой, душа, с детства жившая стремлениями к "важнейшему" ("ничего нет в жизни верного, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного и важнеешего"), чувством тщеты и бренности всех земных дел и величий? -- "Он обличал все и вся". Но и Христос обличал. Только он же и говорил: "Царство мое не от мира сего". И Будда обличал: "Горе вам, князья властвующие, богатые, пресыщенные!"

-- Такие умственные силы пропадают в колонье дров, в ставлении самоваров и шитье сапог!

-- Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.

-- Тебе полечиться надо.

Не пропадать этим умственным силам в шитье сапог никак нельзя было. Но разве в силу того, что нужны "общественные" улучшения жизни, устранения "классовых неравенств"?

Он, "счастливый", увидел в жизни только одно ужасное. В какой жизни? В русской, в об-

щевропейской, в своей собственной домашней? Но все эти жизни только капли в море. И эти жизни ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснее всего главное: невыносима всякая человеческая жизнь -- "пока не найден смысл ее, спасение от смерти". И даже больше: никуда не уйдешь от ее тяжести, покуда не уйдешь не из Ясной Поляны только, не из России, не из Европы, а вообще из жизни земной, человеческой.

"Это от нездоровья, тебе полечиться надо". Но что же говорить о "здоровье" и о лечении Будды, Толстого!

"Мировая совесть, совесть цивилизованного мира". Но были только совпадения в том, что говорил мир и что он.

Он говорил:

-- Мы (христиане) часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. Кажется, все одно и то же. Но не только есть большая равнина, но нет более далеких от нас людей, чем революционеры.

Он спрашивал:

-- Машины, чтобы делать что? Телеграфы,

чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей -- чтобы делать что?

В биографии Полнера эта знаменитая цитата сопровождается наивным разъяснением: "В условиях социального неравенства Толстой не мог найти удовлетворительных ответов на эти вопросы". Ну, а если бы не социальное неравенство? Полнер не обращает никакого внимания на последний из толстовских вопросов:

-- Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь за чем?

Странно разъяснять все это. Но разъяснять еще необходимо. Вспоминаю речь одного из самых блестящих русских людей, знаменитого адвоката и политического деятеля Маклакова, много лет бывшего в доме Толстых одним из самых близких им людей,-- речь, произнесенную в Праге. Маклаков тоже разъяс-

нял, он говорил:

-- Очень достойно внимания то, что вот в эти юбилейные дни мир поминает Толстого только как художника и как политика,-- что религиозная и философская мысль хранят о нем молчание. Как художник Толстой, конечно, вне сомнений. А что еще вне сомнений? Его политическая деятельность. И вот политики, одни с огорчением, другие с похвалой, отмечают борьбу Толстого с правительством, с насилиями всякого рода, с привилегиями, с богатыми, сильными. Для одних это ужасно: он был идейный виновник русской революции; для других же это большая заслуга его; для них у Толстого нелепо одно -- его проповедь о непротивлении злу, его "недомыслие", происходившее, по их мнению, от незнакомства с учением Маркса, от незнания даже начальных учебников государственного права. Правда ли, однако, что Толстой был политик, хотя и писал, например, "Стыдно", "Не могу молчать", затрагивал политические темы даже в "Воскресении", хлопотал перед властями и Государственной думой о проведении в жизнь законодательным порядком идей Ген-

ри Джорджа? Нет, все-таки не был, политическую деятельность все-таки считал злом; в своей книге "Христианское учение", задавая себе вопрос, почему мир не пошел за Христом, он находит ответ на него в том, что в мире существуют "соблазны", те губительные подоби́я добра, в которые, как в ловушку, заманиваются люди, например, политическими статутами,— это даже самый опасный соблазн, говорит он, когда государство оправдывает совершаемые им грехи тем, что оно будто бы несет благо большинству людей, народу, человечеству. Да, Толстой немало говорил о недостатках человеческого общежития также, как говорим и мы, люди мира, политики; но мы имеем только внешнее право зачислять его в свои ряды, для него эти недостатки не стояли на первом плане, он думал о том, о чем мы, люди бессознательного жизненного инстинкта, слишком мало думаем в нашей жизненной суете,— о смысле жизни, кончающейся смертью. Он сам рассказал в своей "Исповеди", что привело его к "перелому": мысль о смерти; ему стало казаться, что если все то, ради чего мы живем,— все мирские блага, все

наслаждения жизнью, богатством, славой, почестями, властью, -если все это будет у нас отнято смертью, то в этих благах нет ни малейшего смысла. Если жизнь не бесконечна, то она просто бессмысленна; а если она бессмысленна, то жить вовсе не стоит, следует как можно скорее избавиться от нее самоубийством. Вот то неожиданное и безотрадное заключение, к которому привела его мысль о смерти...

Почему Маклаков употребил слово "неожиданное", непонятно. Но дальше он говорит опять правильно: "Эта проблема о смысле жизни не связана ни с определенной эпохой, ни с народностью, ни с формулами государственности... Толстого нужно сравнивать не с нами, не с политиками, не с теми, кто хлопочет об увеличении благ и о справедливом распределении их в обществе, а с учителями религий... Толстой -- сын позитивного века и сам позитивист; но по запросам своего духа он был религиозная натура по преимуществу..." Это все правильно (за исключением, конечно, наименования Толстого позитивистом), и правильности своих разъяснений

Маклаков мог бы привести множество и других доказательств. Толстой и сам говорил в этом роде:

-- Люди, ненавидящие существующий строй и правительство, представляют себе какой-то другой порядок вещей и даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами -- пожарами, грабежами, убийствами -разрушают этот строй... Но дело не в перемене правительств. Разве жизнь станет лучше, если вместо Николая II будет царствовать Петрункевич?

Он ждал, говорит Александра Львовна, что после японской войны в России будет революция: настроение рабочих, солдат, крестьян он чувствовал не только из разговоров с ними, но и по бесконечным письмам, стекавшимся к нему со всех концов России. Но для него было совершенно ясно, что революция не улучшит положения народа; каждая власть основана на насилии, и каждая власть поэтому дурна, говорил он: "Новое правительство будет также основано на насилии, как и старое. Как Кромвель, как Марат давили своих противников, так и у нас новое правитель-

ство давило бы консерваторов..."

Он писал "Правительству, революционерам и народу":

– Для того, чтобы положение людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше. Это такой же трюизм, как то, что для того, чтобы нагрелся сосуд воды, надо, чтобы все капли ее нагрелись. Для того же, чтобы люди становились лучше, надо, чтобы они все больше и больше обращали внимание на себя, на свою внутреннюю жизнь. Внешняя же, общественная деятельность, в особенности общественная борьба, всегда отвлекает внимание людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности. Понижение же уровня общественной нравственности делает то, что самые безнравственные части общества все больше и больше выступают наверх и устанавливается безнравственное общественное мнение, разрешающее и даже одобряющее преступления. И устанавливается порочный круг: вызванные общественной борьбой худшие части общества с жаром отдаются соответствующей их низкому нрав-

ственному уровню общественной деятельности, деятельность же эта привлекает к себе еще худшие элементы общества...

Маклаков разъяснял в своей речи и другое -- "самое важное в миросозерцании Толстого, именно его религиозные воззрения". Я не случайно остановился на этой речи: суждения таких людей, как Маклаков, не могут не обращать на себя особенного внимания уже хотя бы по тому редкому во всех отношениях знанию Толстого, которым обладает Маклаков. Что же говорил он о Толстом как о вероучителе?

Толстой, говорил он, утверждал не только печатно, но и во многих беседах со мной, что он своего собственного христианского учения не создавал, что он только восстановил подлинного Христа, затемненного учением мира и церкви. Преклоняясь перед Христом, Толстой в нем бога не видел: я не раз от него самого слышал, что, если бы он считал Христа богом, Христос потерял бы для него все свое обаяние. Обычное воззрение неверующих. Толстой был человеком современным, позитивистом. Он был слишком умен, чтобы не

понимать, что разум наш ограничен; но, признавая ограниченность разума, он не допускал и того, чтобы разум мог узнать абсолютную истину в порядке веры и откровения. Он любил употреблять слова -- религия, бог, бессмертие... Но бог был для него -непонятная, начальная сила; бессмертие духа -простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а вера, по словам Ивана Киреевского, которые он любил повторять, есть не столько знание истины, сколько преданность ей. Все это очень далеко от учения церкви, и потому Толстой по своему мировоззрению истинный позитивист, сын нашего века. Однако вот что замечательно: он не говорил, подобно позитивистам, что проповедь Христа противоречит природе людей, что в его учении надо видеть только идеал, недостижимый на земле,-- он думал, что это учение и должно и можно исполнять при мирском мировоззрении он учил жить по-божьи.

-- Зачем жить по-божьи? Затем, что иначе жизнь, кончающаяся смертью, есть бессмыслица.

Христос сказал в притче о богаче: он собрал богатства в житницы свои и хотел ими наслаждаться с друзьями своими; безумец, разве он стал бы это делать, если бы знал, что господь призовет его к себе в эту ночь? Люди, не думающие о смерти, ведут себя как этот безумец, говорил Толстой; при наличии смерти нужно либо добровольно покинуть жизнь, либо переменить ее, найти в ней тот смысл, который не уничтожался бы смертью. Нелепость его проповеди о непротивлении злу доказывали еще и тем, что при этом непротивлении и наша жизнь, и культура, и государство погибнут, станут жертвою насильников; а для него нелепо было это доказательство: к чему же наша жизнь и все блага ее, если и то и другое поглотит смерть? Страх смерти тем резче, чем больше благ теряешь, умирая. Что же нужно? Нужна такая жизнь, которой смерть не страшна. Какая же это жизнь? На это отвечает только религия, религия христианская, религия "бедных, смиренных, немудрствующих".

И это привело его к борьбе с церковью. Уже одному позитивному его противоречила

церковно-религиозная мистика; и все-таки не это оттолкнуло его от церкви: оттолкнуло ее отношение к земной жизни, то, что она не отвергла, как отвергал Христос, мирскую жажду земных благ, не сказала, как он: раздай имущество, не противься злу насилеи, подставь левую щеку ударившему тебя в правую, не суди, не казни... Церковь приняла, подтвердила и даже осватила все мирские понятия и учреждения со всеми их грехами и преступлениями, стала учить повиноваться этим учреждениям; мало того -- показала в лице своих представителей, что и сама ценит все мирские блага. Зачем жить, если мы смертны? Мистика церкви отвечает: нет, мы бессмертны, за гробом мы обретем небесную, вечную жизнь и возмездие или награду за земную, временную. И эта мистика помирила человека с бессмысленностью и безумием его мирской жизни. Да, будут за грехи возмездия, говорит церковь; но все-таки она допустила привычную дурную жизнь человека на земле, учением о загробной жизни утвердила в людях вкус к земным благам, радостям, грехам, соблазнам и признала право человека

ссылаться на свои человеческие слабости. Церковь божия забыла Христа, сказал Толстой - и стал проповедовать христианство без бога. Еще в молодости говорил он: человек должен сознавать в себе свою личность не как нечто противоположное миру, а как малую частицу мира, огромного и вечно живущего. Это-то и говорит Христос: "Люби ближнего, как самого себя". И счастье личности может быть лишь одно: жить для других. Жертвуя собой для других, человек становится сильнее смерти. И вот почему заповеди Христа открыли ему смысл земной жизни и уничтожили его прежний страх перед смертью. О, конечно, против такого учения многое может возразить и позитивизм и церковь. Позитивизм скажет: зачем нужен какой-то смысл жизни, когда есть инстинкт жизни и все ее радости? А церковь скажет так: объявить Христа человеком, отрицать его воскресение не значит ли свести христианство к нежизненной, недоступной человеческим силам и неинтересной морали? Разве рассудочная теория об общей мировой жизни, которая будто бы уничтожает страх смерти, может за-

менить веру в любовь и милосердие божие, в заботы промысла о человеке и в радость конечного соединения с богом за гробом? Но Толстой пошел против церкви и против мира -- и восстановил против себя и церковь и мир...

Так разъяснял Толстого Маклаков. И так удивительно чередовались у него суждения правильные с суждениями порой просто непонятными.

-- Толстой -- сын позитивного века и сам позитивист... Но весьма странно называть "сыном позитивного века" того, кто то и дело говорил и писал: "Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное... Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от бога... Все меньше понимаю мир вещественных и, напротив, все больше и больше сознаю то, чего нельзя понимать, а можно только сознать... Материя для меня самое непонятное... Что я такое? Разум ничего не говорит на эти вопросы сердца... С тех пор как существуют люди, они отвечают на это не словами, то есть орудием ра-

зума, а всей жизнью... Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим..." Церковь утверждает, что мы бессмертны? Но и Толстой непрестанно говорил о бессмертии: "Думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по-другому, будет на той стороне смерти... Мне ясно было, что там будет так же хорошо,-нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнения в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог выввать в себе уверенность..." "Все тверже и тверже знаю, что огонь, погаснувший здесь, появится в новом виде не здесь -- он самый..." "Вчера очень интересный разговор с Коншиным, он просвещенный материалист. Его, разумеется, не убедил ни в существовании бога, ни в будущей жизни, но себя убедил еще больше..." Он - не видел в Христе бога? Но есть ли это "обычное воззрение неверующих"? Есть ведь миллионы не-христиан, миллионы не признающих Христа богом и, однако, верующих.

[...]

Из Ясной Поляны он выбрался между 4 и 5

часами утра (как записал Маковицкий, с удивительной точностью, много лет, изо дня в день, ведший свои записи о нем). Вез его в старой дышловой коляске старый кучер Адриан. Коляску сопровождал верхом, освещая путь факелом, конюх Филипп. Ехали на станцию Щекино Московско-Курской ж.д. (5 верст от Ясной Поляны). В дороге было холодно, и Маковский надел на него вторую шапку. На станции Щекино сели в товарно-пассажирский поезд, шедший от Тулы на Орел. На узловой станции Горбачево (105 верст от города Козельска Калужской губернии) пересели в смешанный поезд. В 4 ч. 50 вечера приехали в Козельск, в 5 верстах от которого находился древний мужской монастырь "Оптина Введенская Пустынь", а в четырнадцати верстах далее, в большом селе Шамардине, тот женский монастырь, где давно монашествовала Мария Николаевна.

Когда прибыли в Козельск, уже совсем смеркалось. Со станции поехали в монастырь в ямщицкой тележке по речной низменности, отделяющей Козельск от монастыря. Дорога была ужасная, грязная, говорится в запи-

сях Маковицкого. Было очень темно. Месяц светил из-за облаков. Лошади шли шагом. "Лев Николаевич спрашивал еще в вагоне и теперь спросил (ямщика), какие есть старцы в Оптиной, и сказал, что пойдет к ним". Под монастырем переправлялись через реку на пароме. В монастыре остановились у гостинника-монаха о.Михаила. О.Михаил, с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал: "Как здесь хорошо!" И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне. Потом пил чай с медом (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда на ночь ставил самопишущее перо. Потом стал писать дневник, спросил, какое сегодня число. В 10 часов лег спать... Пиша, больше обыкновенного торопился..." Когда ложился спать, Маковицкий хотел помочь ему снять сапоги, и он рассердился: "Я хочу сам себе служить!"

Никому до сих пор не известно: думал ли он остаться в Оптиной или Шамардине? Как

там было оставаться отлученному от церкви, не примирившись с нею? И вот предполагают: может быть, он хотел примириться. Для такого предположения есть некоторые основания.

Мой покойный друг Лопатина (сестра известного философа Льва Лопатина) рассказывала мне:

-- Я была после смерти Толстого в Шамардине. Через широкую речку к монастырю перевозили на пароме монахи в белых подрясниках и белых скуфейках. Такие же монахи работали в полях. Кругом все радовало -тишиной, красотой, миром, был жаркий летний день. В чистеньком номере монастырской гостиницы, светлом, тесном и бедном, со странной маленькой деревянной кроватью, может быть, еще времен Бориса Годунова, за чаем с просфорами, монах много говорил о последнем посещении монастыря Толстым:

"Приехал, постучал и спрашивает: "Можно мне войти?" Гостинник говорит: "Пожалуйста".-- "Ведь я Толстой, может, вы меня не примете?" -- "Мы всех принимаем,-говорит гостинник,-- всякого, кто желание имеет". Они

и остановились у нас. Потом пошли к настоятелю, потом ездили в Шамардино, к сестре своей монахине... Потом за ними приехали..."

Монах еще говорил, что перед крыльцом настоятеля Лев Николаевич стоял на холоде и сырости с шапкой в руках. Он опять не хотел входить прямо, опять просил служку доложить: "Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя?" Монах сам вышел к нему, раскрыв объятия, и сказал: "Брат мой!" Лев Николаевич бросился к нему на грудь и зарыдал...

Приехав в Шамардино, к Марии Николаевне, он радостно сказал ей: "Машенька, я остаюсь здесь!" Волнение ее было слишком сильно, чтобы сразу поверить этому счастью. Она сказала ему: "Подумай, отдохни..."

Он вернулся к ней утром, как было условлено, но уже не один: вошли и те, что за ним приехали. Он был смущен и подавлен, не глядел на сестру. Ей сказали, что едут к духоборам.

-- Левочка, зачем ты это делаешь? -- воскликнула она.

Он посмотрел на нее глазами, полными

слез.

Ей сказали (Александра Львовна):

-- Тетя Маша, ты всегда видишь все в мрачном свете и только расстраиваешь папа. Все будет хорошо, вот увидишь...

И отправились с ним в его последнюю дорогу... Если бы были свидетельства только вроде вот этих, можно было бы не придавать им значения: и сама Лопатина, и подобные ей по духу, по правоверной, церковной религиозности, легко могли поддаваться искушению создать легенду, будто он действительно стремился примириться с церковью. Но оказались и другие свидетельства. Не случайно же все-таки поехал он в Шамардино. Заехал туда по пути? Но по пути куда? И зачем? Повидаться с сестрой? Но с какой целью? Просто с родственной? Но ведь, может быть, не только с родственной? Как бы там ни было, он поехал в Шамардино, ехал через Оптину Пустынь; по дороге туда от Козельска спрашивал ямщика о старцах, там ночевал и провел весь день в монастырской гостинице. Зачем? Известно, что много беседовал с о.Михаилом,-- опять расспрашивал о старцах, спасающихся при

монастыре в скиту, выражал желание пови-
даться с ними, а потом "вышел, бродил возле
скита, дважды подходил к дому старца о.Вар-
сонофия, стоял у его дверей, но не вошел"...

Это говорит,-- то же, что и Лопатина,-- из-
вестный журналист Ксюнин, посетивший
Шамардино тотчас после его смерти. Он мно-
гое говорит в своей книге "Уход Толстого" со
слов матери Марии, и, между прочим, следу-
ющее: когда Толстой пришел к сестре,-- он и в
Шамардине остановился в монастырской го-
стинице,-они долго сидели, затворившись ото
всех в ее спальне. Вышли только к обеду, и то-
гда Толстой сказал:

-- Сестра, я был в Оптиной, как там хорошо!
С какой радостью я жил бы там, исполняя са-
мые низкие и трудные дела; только поставил
бы условием не принуждать меня ходить в
церковь.

-- Это было бы прекрасно,-- отвечала сест-
ра,-- но с тебя взяли бы условие ничего не
проповедовать и не учить.

Он задумался, опустил голову и оставался
в таком положении довольно долго, пока ему
не напомнили, что обед окончен.

-- Виделся ты в Оптиной со старцами? --
спросила сестра.

Он ответил:

-- Нет... Разве ты думаешь, что они меня
приняли бы? Ты забыла, что я отлучен...

Чем бы все это кончилось? Может быть, и
состоялись бы его встречи с оптинскими стар-
цами, и, может быть, привели бы они к воз-
вращению его в лоно церкви. Но на другой
день в Шамардино приехала Александра
Львовна и привезла страшные вести из Ясной
Поляны,-- о том, что Софья Андреевна, узнав
утром 28 октября о его бегстве, дважды поку-
шалась на самоубийство (два раза убежала на
пруд и топилась), рыдала весь день, била себя
в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком,
колола себя ножами, ножницами, рвалась вы-
броситься в окно и все кричала:

-- Я его найду, я убегу из дому, побегу на
станцию! Ах, только бы узнать, где он! Уж то-
гда-то я его не выпущу, день и ночь буду кара-
улить, спать буду у его двери!

Ее письмо к нему, которое привезла с со-
бой Александра Львовна, было тоже совер-
шенно ужасно по своему отчаянию. И вот, по-

трясенный и этим письмом, и всем тем, что было после его бегства в Ясной Поляне, охваченный ужасом, что, того гляди, Софья Андреевна узнает, где он, и бросится за ним в погоню, он побежал дальше.

-- Я не могу вернуться, я не вернусь,-- все повторял он в день приезда Александры Львовны.-- Я хотел здесь остаться, я даже избу ходил нанимать здесь на житье себе...

Но теперь остаться было невозможно. Он провел весь день 30 октября за тревожным писанием нового письма Софье Андреевне, писал, сидя в жарком номере под открытой форточкой, которую не позволил закрыть, лег спать в тревоге и тоске, разрываемый и жалостью к Софье Андреевне, и невозможностью вернуться домой, и опять вскочил еще в темноте, в 4 часа утра.

-- В 4 часа он разбудил Душана Петровича, послал за ямщиками,-- говорит Александра Львовна.-- Помня обещание, данное мною тебе Маше непременно повидаться с ней в случае отъезда дальше, я тотчас же послала за ней. Было еще совсем темно. При свете свечи я торопливо собирала вещи, завязывала че-

моданы. Пришел Душан Петрович. Козельские ямщики подали лошадей... Отец очень волновался, наконец решил ехать, не дождав-шись тети Маши и Оболенской, которым на-писал следующее письмо:

"Шамардинский монастырь. 31 октября 1910 года, 4 ч. утра. Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите нас, меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал бы к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы так непредвиденно потому, что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна. А поезд только один, в восьмом часу. Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас. Л.Т."

Куда он бежал теперь? Решено было -- пока в Новочеркасск. Но решали только его спутники -- сам он, разбитый, шатающийся от усталости и пережитых волнений, только то-ропил бежать:

-- Все равно куда... только ни в какую ни в толстовскую колонию, а просто в мужицкую избу...

На станции Козельск едва успели попасть в поезд, шедший на юг, вскочили в вагон без билетов. На станции Волово взяли билеты до Ростова-на-Дону. Это было утром 31 октября, а 1 ноября Александра Львовна уже телеграфировала Черткову:

"Вчера слезли Астапово, сильный жар, забытье, утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать невыносимо".

В это же утро, говорит она дальше, отец продиктовал мне следующие мысли в свою записную книжку:

"Бог есть неограниченное Все, человек есть только ограниченное проявление Бога".

Она записала это и ждала, что он будет диктовать дальше, но он сказал:

-- Больше ничего.

Он полежал некоторое время молча, потом снова подозвал ее:

-- Возьми записную книжку и перо и пиши:

"Или еще лучше так: Бог есть то неограни-

ченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.

Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует. Бога мы познаем только через сознание его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяют человека и в познании самого Бога, и в руководстве в своей жизни, основанном на этом сознании".

Через некоторое время он снова позвал ее:
— Теперь я хочу написать Тане и Сереже.

Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступавших к горлу слез, и минутами она едва могла слышать его тихий, тихий голос:

"Милые мои дети, Таня и Сережа! Надеюсь

и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамы было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние сорок лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю - ошибаюсь или нет -- его важность для всех людей и для вас в том числе.

Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли, или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал.

Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках; а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без

вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти, говорю это.

Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой".

-- Ты им передай это после моей смерти,-- сказал он Александре Львовне и опять заплакал.

Утром 2 ноября приехал Чертков, и, взволнованный этим, он опять плакал. Положение же его становилось все серьезнее. Несколько раз он отхаркивал кровяную мокроту, жар у него все повышался, сердце работало слабо, с перебоями, и ему давали шампанское. Днем он сам несколько раз ставил себе градусник и смотрел температуру. К вечеру состояние его еще ухудшилось. Он громко стонал, дыхание было частое и тяжелое... Он снова попросил градусник и, когда вынул его и увидал 39,2, громко сказал:

-- Ну, мать, не обижайтесь!

В восемь часов вечера приехал Сергей

Львович. Он опять очень взволновался, увидав его, когда же Сергей Львович вышел от него, позвал Александру Львовну:

-- Сережа-то каков!

-- А что, папаша?

-- Как он меня нашел! Я очень рад, он мне приятен... Он мне руку поцеловал, -сквозь рыдания с трудом проговорил он.

Третьего ноября Чертков читал ему газеты и прочел четыре полученных на его имя письма. Он их внимательно выслушал и, как всегда это делал дома, просил пометить на конвертах, что с ними делать.

Ночь с 3 на 4 была одна из самых тяжелых. Вечером, когда оправляли его постель, он сказал:

-- А мужики-то, мужики как умирают! -- и опять заплакал.

Часов с одиннадцати начался бред. Он опять просил записывать за ним, но говорил отрывочные, непонятные слова. Когда он просил прочитать записанное, терялись и не знали, что читать. А он все просил:

-- Да прочтите же, прочтите!

Утро 4 ноября было тоже очень тревожно.

Появился еще новый зловещий признак: он, не переставая, перебирал пальцами, брал руками один край одеяла и перебирал его пальцами до другого края, потом обратно, и так без конца. Иногда он старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль.

-- Ты не думай,-- сказала ему Александра Львовна.

-- Ах, как не думать, надо, надо думать!

Так весь день он старался сказать что-то, метался и страдал.

К вечеру снова начался бред, и он умолял понять его мысль, помочь ему.

-- Саша, пойдди, посмотри, чем это кончится,-- говорил он.

Она старалась отвлечь его: -- Может быть, ты хочешь пить?

-- Ах нет, нет... Как не понять... Это так просто!

И снова бредил: -- Пойдите сюда, чего вы боитесь, не хотите мне помочь, я всех прошу...

-- Искать, все время искать...

В комнату вошла Варвара Михайловна. Он

привстал на кровати, протянул руки и громким, радостным голосом, глядя на нее в упор, крикнул (приняв ее за умершую дочь):

– Маша, Маша!

Всю ночь Александра Львовна не отходила от него. Он все время метался, охал. Снова просил записывать. Записывать было нечего, а он все просил: – Прочти, что я написал! Что же вы молчите? Что я написал?

Все время старались дежурить возле него по двое, но тут случилось, что Александра Львовна осталась одна. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал и стал спускать ноги с постели. Она быстро подошла:

– Что тебе, папаша?

– Пусти, пусти меня!

И из всех сил рвался вперед:

– Пусти, пусти, ты не смеешь держать, пусти!

В 10 часов утра 6 ноября приехали московские врачи. Увидав их, он сказал:

– Я их помню...

В этот день он точно прощался со всеми. Ласково посмотрел на Душана Петровича и с

глубокой нежностью сказал:

-- Милый Душан, милый Душан!

Меняли простыни, я поддерживала ему спину,-- говорит Александра Львовна.-- И вот я почувствовала, что его рука ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мне руку один раз, потом другой. Я сжала его руку и припала к ней губами, стараясь сдержать рыдания. В этот день отец, сказал нам слова, которые заставили нас вспомнить, что жизнь для чего-то послана нам и что мы обязаны, независимо от каких-либо обстоятельств, продолжать эту жизнь, по мере слабых сил своих стараясь служить Пославшему нас и людям. Кровать стояла среди комнаты. Мы сидели около. Вдруг отец сильным движением привстал и почти сел. Я подошла:

-- Поправить подушки?

-- Нет,-- сказал он, твердо и ясно выговаривая каждое слово,-- нет. Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.

Деятельность сердца у него очень ослабе-

ла, пульс едва прощупывался, губы, нос и руки посинели и лицо как-то сразу похудело, точно сжалось. Дыханье было едва слышно...

Вечером, когда все разошлись спать, я тоже заснула.

Меня разбудили в десять часов. Отцу стало хуже. Он стал задыхаться. Его приподняли на подушки, и он, поддерживаемый нами, сидел, свесив ноги с кровати.

-- Тяжело дышать,-- хрипло, с трудом проговорил он.

Всех разбудили. Доктора давали ему дышать кислородом... После впрыскивания камфары ему как будто стало лучше. Он позвал брата Сережу:

-- Сережа!

И когда Сережа подошел, сказал:

-- Истина... Я люблю много... как они...

Это были его последние слова.

И вот еще что говорил он в бреду 6 ноября (по свидетельству Сергея Львовича), -- то, на что я уже указывал:

-- Все Я... все проявления... довольно проявлений... вот и все...

В этот день в Астапово приехал о. Варсоно-

фий, старец из Оптиной Пустыни. Впоследствии говорили, будто этот приезд состоялся "по приказу из Петербурга". Говорили неправду. Приехав, о. Варсонофий просил допустить его к умирающему, получил отказ и написал Александре Львовне письмо: "Почтительно благодарю Ваше сиятельство за письмо Ваше, в котором пишете, что воля родителя Вашего для Вас и для всей семьи Вашей поставляется на первом плане. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а Вашей тетушке, монахине матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами". Приказ из Петербурга выходит, таким образом, выдумкой. Если бы он не выражал сестре желания видеть старцев, о. Варсонофий не мог бы ссылаться на нее. Но что было бы, если бы Александра Львовна допустила его к отцу? Можно предположить: примирение умирающего с церковью. Но разве это уничтожило бы смысл его бредовых слов, слышанных Сергеем Львовичем?

Смысл этот слишком велик, уничтожить его не могло ничто.

"Слова умирающего особенно значитель-

НЫ",-- как однажды сказал он в своем дневнике.

[...]

Париж, 7.VII.37